

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В

БОЛЬШИЕ КНИГИ

Михаил
Зощенко

НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!



Издательство «Азбука»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
З 88

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

ISBN 978-5-389-18315-5

© М. М. Зощенко (наследники), 2020
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство АЗБУКА®

РАССКАЗЫ
И ФЕЛЬЕТОНЫ



РАССКАЗЫ НАЗАРА ИЛЬИЧА, ГОСПОДИНА СИНЕБРЮХОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я такой человек, что все могу... Хочешь — могу землишку обработать по слову последней техники, хочешь — каким ни на есть рукомеслом займусь, — все у меня в руках кипит и вертится.

А что до отвлеченных предметов — там, может быть, рассказ рассказать или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить, — пожалуйста: это для меня очень даже просто и великолепно.

Я даже, запомнил, людей лечил.

Мельник такой жил-был. Болезнь у него, можете себе представить, — жаба болезнь. Мельника того я лечил. А как лечил? Я, может быть, на него только и глянул. Глянул и говорю: да, говорю, болезнь у тебя жаба, но ты не горюй и не пугайся — болезнь эта внеопасная, и даже прямо тебе скажу — детская болезнь.

И что же? Стал мой мельник с тех пор кругленький и розовенький, да только в дальнейшей жизни вышел ему перетык и прискорбный случай...

А на меня многие очень удивлялись. Инструктор, товарищ Рыло, это еще в городской милиции, тоже очень даже удивлялся. Бывало, придет ко мне, ну, как к своему задушевному приятелю:

— Ну что, — скажет, — Назар Ильич, товарищ Синебрюхов, не богат ли будешь печеным хлебцем?

Хлебца, например, я ему дам, а он сядет, запомнил, к столу, пожует-покушает, ручками этак вот раскинет.

— Да, — скажет, — погляжу я на тебя, господин Синебрюхов, и слов у меня нет. Дрожь прямо берет, какой ты есть человек. Ты, — говорит, — наверное, даже державой управлять можешь.

Хе-хе, хороший был человек инструктор Рыло, мягкий.

А то начнет, знаете ли, просить: расскажи ему что-нибудь такое из жизни. Ну, я и рассказываю.

Только, безусловно, насчет державы я никогда и не задавался: образование у меня, прямо скажу, никакое, а домашнее. Ну а в мужицкой жизни я вполне драгоценный человек. В мужицкой жизни я очень полезный и развитой.

Крестьянские эти дела-делишки я уж как понимаю. Мне только и нужно раз взглянуть как и что.

Да только ход развития моей жизни не такой.

Вот теперь, где бы мне хозяином пожить в полное свое удовольствие, я крохобором хожу по разным гиблым местам, будто преподобная Мария Египетская.

Да только я не очень горюю. Я вот теперь дома побывал и нет — не увлекаюсь больше мужицкой жизнью.

Что ж там? Бедность, блекота и слабое развитие техники.

Скажем вот про сапоги.

Были у меня сапоги, не отпираюсь, и штаны, очень даже великоленные были штаны. И можете себе представить, сгнули они — аминь — во веки веков в собственном своем домишке.

А сапоги эти я двенадцать лет носил, прямо скажу, в руках. Чуть какая мокрень или непогода — разуюсь и хлюпаю по грязи... Берегу.

И вот сгнули...

А мне теперь что? Мне теперь в смысле сапог — труба.

В германскую кампанию выдали мне сапоги штиблетами — блекота. Смотреть на них грустно. А теперь, скажем, жди. Ну, спасибо, война, может, произойдет — выдадут. Да только нет, годы мои вышли и дело мое на этот счет гиблое.

А все, безусловно, бедность и слабое развитие техники.

Вот для наглядности сюжета взять иностранную державу, ну, скажем, Америку... Хорошо-с... Взяли: идет человек по улице, мужик американский, такой же, как и не я... Пальтишко на нем демисезон. Шляпка, полусапожки, может быть, замечательные...

Подходит он демонстративно к стене, поворачивает какую-нибудь там еле зримую фитюльку и:

— Ало? — говорит. — Откеда?

Говорит, а сам по камню так и точет нарочно каблучком, не боится, жаба, что сапог испортит.

Ему что? Там богатство и жизненное великолепие Европы. А у нас бедность и блекота.

Ну а рассказы мои, безусловно, из жизни и все воистинная есть правда.

ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ

Фамилией бог меня обидел — это верно: Синебрюхов, Назар Ильич.

Ну да обо мне речь никакая, — очень я даже посторонний человек в жизни. Но только случилось со мной великосветское приключение, и пошла оттого моя жизнь в разные стороны, все равно как вода, скажем, в руке — через пальцы, да и нет ее.

Принял я и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь... Да только все, может, впустию... Нету здесь такого человека, молодого князя вашего сиятельства.

Может, и ушел он из России вон, а может, и неживой теперь — казнь принял.

Так-то вот!

Был у меня задушевный приятель. Ужасно образованный человек, прямо скажу — одаренный качествами. Ездил он по разным иностранным державам в чине камендинера, понимал он даже, может, по-французскому и виски иностранные пил, а был такой же, как и не я, все равно — рядовой гвардеец пехотного полка.

На германском фронте в землянках, бывало, удивительные даже рассказывал происшествия и исторические всякие там вещички.

Принял я от него немало. Спасибо! Многое через него узнал и дошел до такой точки, что случилась со мной гнусь всякая, а сердцем я и по сей час бодрюсь.

Знаю: Пипин Короткий... Встречу, скажем, человека и спрошу: а кто за есть такой Пипин Короткий?

И тут-то и вижу всю человеческую образованность все равно как на ладони.

Да только не в этом штука.

Было тому.. сколько?.. четыре года взад. Призывает меня ротный командир в чине — гвардейский поручик и князь ваше сиятельство. Ничего себе. Хороший человек.

Призывает. Так, мол, и так, говорит, очень я тебя, Назар, уважаю и вполне ты прелестный человек... Сослужи, говорит, мне еще одну службишку.

Произошла, говорит, Февральская революция. Отец староватенький, и очень я даже беспокоюсь по поводу недвижимого имущества. Поезжай, говорит, к старому князю в родное имение, передай вот это самое письмишко в самые то есть его ручки и жди, что скажет. А супруге, говорит, моей, прекрасной полячке Виктории Казимировне, низынько поклонись в ножки и ободря каким ни на есть словом. Исполни, говорит, это для-ради бога, а я, говорит, ошастливлю тебя суммой и пуцу в несрочный отпуск.

— Ладно, — отвечаю, — князь ваше сиятельство, спасибо за ласку, только, может, я и не стою таких ваших слов.

А у самого сердце огнем играет: эх, думаю, как бы это исполнить.

А был князь ваше сиятельство со мной все равно как на одной точке. Уважал меня по поводу незначительной даже истории. Конечно, я поступил геройски. Это верно.

Стою раз преспокойно на часах у княжешей земляночки на германском фронте, а князь ваше сиятельство пирует с приятелями. Тут же между ними, запомнил, сестричка милосердия.

Ну, конечно: игра страстей и разнузданная вакханалия... А князь ваше сиятельство, из себя пьяненький, песни играет.

Стою. Только слышу вдруг шум в передних окопчиках. Шибко так шумят, а немец, безусловно, тихий, и будто вдруг атмосферой на меня пахнуло.

«Ах ты, — думаю, — так твою так — газы!»

А поветрие легонькое этакое в нашу, в русскую сторону.

Беру преспокойно зелинскую маску (с резиной), избегаю в земляночку...

Так, мол, и так, кричу, князь ваше сиятельство, дыши через маску — газы.

Очень тут произошел ужас в земляночке.

Сестричка милосердия — бяк, с катушек долой, — мертвая падаль.

А я сволок князеньку вашего сиятельства на волю, кострик разложил по уставу. Зажег. Лежим, не трепыхнемся... Что будет... Дышим.

А газы... Немец — хитрая сука, да и мы, безусловно, тонкость понимаем: газы не имеют права осесть на огонь.

Газы туды и сюды крутятся, выскивают нас-то... Сбоку да с верхов так и лезут, так и лезут клубом, вынюхивают...

А мы, знай, полеживаем да дышим в маску...

Только прошел газ, видим — живые.

Князь ваше сиятельство лишь малехонько поблевал, вскочил на ножки, ручку мне жмет, восторгается.

— Теперь, — говорит, — ты, Назар, мне все равно как первый человек в свете. Иди ко мне вестовым, осчастливь. Буду о тебе пекчись.

Хорошо-с. Прожили мы с ним цельный год прямо-таки замечательно.

И вот тут-то и случилось: засылает меня ваше сиятельство в родные свои места.

Собрал я свое барахлишко.

«Исполню, — думаю, — показанное, а там — к себе. Все-таки дома, безусловно, супруга нестарая и мальчишек».

Хорошо-с. В город Смоленск прибыл, а оттуда славным образом на пароходе на пассажирском в родные места старого князя.

Иду — любуюсь. Прелестный княжеский уголок и чудное, запомнил, заглавие — вилла «Забава».

Вспрашиваю: здесь ли, говорю, проживает старый князь ваше сиятельство? Я, говорю, очень по самонужнейшему делу с собственноручным письмом из действующей армии.

Это бабенку-то я спрашиваю.

А бабенка:

— Вон, — говорит, — старый князь ходит грустный из себя по дорожкам.

Безусловно: ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство.

Вид, смотрю, замечательный — сановник, светлейший князь и барон. Бородища баками пребелая-белая. Сам хоть и староватенький, а видно, что крепкий.

Подхожу. Рапортую по-военному. Так, мол, и так, совершилась, дескать, Февральская революция, вы, мол, староватенький, и молодой князь, ваше сиятельство, в совершенном расстройстве по поводу недвижимого имущества. Сам же, говорю, жив и невредимый и интересуется, каково проживает молодая супруга, прекрасная полячка Виктория Казимировна.

Тут и передаю секретное письмишко.

Прочел это он письмишко.

— Пойдем, — говорит, — милый Назар, в комнаты. Я, — говорит, — очень сейчас волнуясь... А пока — на, возьми, от чистого сердца рубль.

Тут вышла и представилась мне молодая супруга Виктория Казмировна с дитей.

Мальчик у ней — сосун млекопитающийся.

Поклонился я низынько, спрашиваю, какво живет ребеночек, а она будто нахмурилась.

— Очень, — говорит, — он нездоровый, ножками крутит, брюшком пухнет, — краше в гроб кладут.

— Ах ты, — говорю, — и у вас, ваше сиятельство, горе такое же человеческое.

Поклонился я в другой раз и прошусь вон из комнаты, потому понимаю, конечно, свое звание и пост.

Собрались к вечеру княжие люди на паужин. И я с ними.

Харчим, разговор поддерживаем. А я вдруг и спрашиваю:

— А что, — говорю, — хорош ли будет старый князь ваше сиятельство?

— Ничего себе, — говорят, — хороший, только не иначе как убьют его скоро.

— Ай, — говорю, — что сделал?

— Нет, — говорят, — ничего не сделал, вполне прелестный князь, но мужички по поводу Февральской революции беспокоятся и хитрят.

Тут стали меня, безусловно, про революцию спрашивать. Что к чему.

— Я, — говорю, — человек неосвещенный. Но произошла, — говорю, — Февральская революция. Это верно. И низвержение царя с царицей. Что же в дальнейшем — опять, повторяю, не освещен. Однако произойдет отсюда людям немалая, думаю, выгода.

Только встает вдруг один, запомнил, из кучеров. Злой мужик. Так и язвит меня.

— Ладно, — говорит, — Февральская революция. Пусть. А какая такая революция? Наш уезд, если хочешь, весь не освещен. Что к чему и кого бить, не показано. Это, — говорит, — допустимо? И какая такая выгода? Ты мне скажи, какая такая выгода? Капитал?

— Может, — говорю, — и капитал, да только нет, зачем капитал? Не иначе как землишкой разживетесь.

— А на кой мне, — ярится, — твоя землишка, если я буду из кучеров? А?

— Не знаю, — говорю, — не освещен. И мое дело — сторона.

А он говорит:

— Недаром, — говорит, — мужички беспокоятся — что к чему... Старосту Ивана Костыля побили ни за про что, ну и князя, безусловно, кончат.

Так вот поговорили мы славным образом до вечера, а вечером ваше сиятельство меня кличут.

Усадили меня, запомнил, в кресло, а сами такое:

— Я, — говорит, — тебе, Назар, по-прямому: тени я не люблю наводить, так и так, мужички не сегодня завтра пойдут жечь имение, так нужно хоть малехонько спасти. Ты, мол, очень верный человек, мне же, — говорит, — не на кого положиться... Спаси, — говорит, — для ради бога положение.

Берет тут меня за ручки и водит по комнатам.

— Смотри, — говорит, — тут саксонское серебро черненное и драгоценный горный хрусталь и всякие, — говорит, — золотые излишества. Вот, — говорит, — какое богатое добрище, а все пойдет, безусловно, прахом и к чертовой бабушке.

А сам шкаф откроет — загорюется.

— Что ж, — говорю, — ваше сиятельство, я не причинен.

А он:

— Знаю, — говорит, — что не причинен, но сослужи, — говорит, — милый Назар, предпоследнюю службу: бери, — говорит, — лопату и изрой ты мне землю в гусином сарае. Ночью, — говорит, — мы схороним что можно и утопчем ножками.

— Что ж, — отвечаю, — ваше сиятельство, я хоть человек и неосвещенный, это верно, а мужицкой жизнью жить не согласен. И хоть в иностранных державах я не бывал, но знаю культуру через моего задушевного приятеля, гвардейского рядового пехотного полка. Утин его фамилия. Я, — говорю, — безусловно, согласен на это дело, потому, — говорю, — если саксонское черненное серебро, то по иностранной культуре совершенно невозможно его портить.

А сам тут хитро перевожу дело на исторические вещички.

Испытываю, что за есть такой Пипин Короткий.

Тут и высказал ваше сиятельство всю свою высокую образованность.

Хорошо-с...

К ночи, скажем, уснула наипоследняя собака. Беру лопату — и в гусиный сарай.

Место оцупал. Рою.

И только берет меня будто жуть какая. Всякая то есть гнусь и невидаль в воспоминанье лезет.

Копну, откину землишку — потею и рука дрожит. А умершие покойники так и представляются, так и представляются...

Рыли, помню, на австрийском фронте окопчики и мертвое австрийское тело нашли...

И зрим: когти у покойника предлинные-длинные, больше пальца. Ох, думаем, значит, растут они в земле после смерти. И такая на нас, как сказать, жуть напала — смотреть больно. А один гвардеец дерг да дерг за ножку австрийское мертвое тело... Хороший, говорит, заграничный сапог, не иначе как австрийский... Любуется и примеряет в мыслях и опять дерг да дерг, а ножка в руке и осталась.

Да-с. Вот такая-то гнусь мертвая лезет в голову, но копаю самоильно, принуждаюсь. Только вдруг как зашуршит что-то в углу. Тут я и присел.

Смотрю: ваше сиятельство с фонарчиком лезет — беспокоится.

— Ай, — говорит, — ты умер, Назар, что долго? Берем, — говорит, — сундучки поскорейча — и делу конец.

Принесли мы, запомнил, десять претяжеленных-тяжелых сундучков, землей закрыли и умяли ножками.

К утру выносит мне ваше сиятельство двадцать пять целковеньких, любуется мной и за ручку жмет.

— Вот, — говорит, — тут письмишко к молодому вашему сиятельству. Рассказан тут план местонахождения клада.

— Поклонись, — говорит, — ему — сыну и передай родительское благословение.

Оба тут мы полюбовались друг другом и разошлись.

Домой я поехал... Да тут опять речь никакая.

Только прожил дома почти-то два месяца и возвращаюсь в полк. Узнаю: произошли, говорят, события, отменили воинскую честь и всех офицеров отказали вон. Вспрашиваю: где ж такое ваше сиятельство?

— Уехал, — говорят, — а куда — неизвестно.

Хорошо-с...

Штаб полка.

Являюсь по уставу внутренней службы. Так и так, рапортую, — из несрочного отпуска.

А командир, по выбору, прапорщик Лапушкин — бяк меня по уху.

— Ах ты, — говорит, — княжий холуй, снимай, говорит, собачье мясо, воинские погоны!

Здорово, думаю, бьется прапорщик Лапушкин, сволочь такая...

— Ты, — говорю, — по морде не бейся. Погоны снять — сниму, а драться я не согласен.

Хорошо-с.

Дали мне, безусловно, вольные документы по чистой.

— Катись, — говорят, — колбаской.

А денег у меня, запомнил, ничего не было, только рубль дареный, зашитый в ватном жилете.

«Пойду, — думаю, — в город Минск, разживусь, а там поищу вашего сиятельства. И осчастливит он меня капиталом».

Только иду нешибко лесом, слышу — кличет кто-то.

Смотрю — посадские. Босые босычки. Крохоборы.

— Куда, — спрашивают, — идешь-катишься, военный мужичок?

Отвечаю смиренномудро:

— Качусь, — говорю, — в город Минск по личной своей потребности.

— Тек-с, — говорят, — а что у тебя, скажи, пожалуйста, в вещевом мешочке?

— Так, — отвечаю, — кое-какое свое барахлишко.

— Ох, — говорят, — врешь, худой мужик!

— Нету, воистинная моя правда.

— Ну, так объясни, если на то пошло, полностью свое барахлишко.

— Вот, — объясняю, — теплые портянки для зимы, вот запасная блуза гимнастеркой, штаны кой-какие...

— А есть ли, — спрашивают, — деньги?

— Нет, — говорю, — извините худого мужика, денег не припас.

Только один рыжий такой крохобор, конопатый:

— Чего, — говорит, — агитировать: становись (это мне то есть), становись, примерно, вон к той березе, тут мы в тебя и штрельнем.

Только смотрю — нет, не шутит. Очень я забеспокоился смертельно, но отвечаю негордо:

— Зачем, — отвечаю, — относишься с такими словами? Я, — говорю, — на это совершенно даже не согласен.

— А мы, — говорят, — твоего согласия не спросим, нам, — говорят, — на твое несогласие ровно даже начихать. Становись, и все тут.

— Ну хорошо, — говорю, — а есть ли вам от казни какая корысть?

— Нет, корысти, — говорят, — нету, но мы, — говорят, — для-ради молодечества казним, дух внутренний поддержать.

Одолел тут меня ужас смертный, а жизнь прельщает наслаждением. И совершил я уголовное преступление.

— Убиться я, — говорю, — не согласен, но только послушайте меня, задушевные босячки: имею я, безусловно, при себе тайну и план местонахождения клада вашего сиятельства.

И привожу им письмо.

Только читают, безусловно: гусиный сарай... саксонское серебро... план местонахождения.

Тут я оправился, путь, думаю, неблизкий, дам теку.

Хорошо-с...

А босячки:

— Веди, — говорят, — нас, если на то пошло, к плану местонахождения клада. Это, — говорят, — тысячное даже дело. Спасибо, что мы тебя не казнили.

Очень мы долго шли, две губернии, может, шли, где ползком, где леском, но только пришли в княжескую виллу «Забава». А только теку нельзя было дать — на ночь вязали руки и ноги.

Пришли.

«Ну, — думаю, — быть беде — уголовное преступление против вашего сиятельства».

Только узнаем: до смерти убит старый князь ваше сиятельство, а прелестная полячка Виктория Казимировна уволена вон из имения.

А в имении заседает, дескать, комиссия.

Хорошо-с.

Разжились инструментом и к ночи пошли на княжий двор.

Показываю босячкам:

— Вот, — говорю, — двор вашего сиятельства, вот коровий хлев, вот пристроечки всякие, а вот и...

Только смотрю — нету гусяного сарая.

Будто должен где-то тут существовать, а нету.

«Фу ты, — думаю, — так твою так...» Идем обратно.

— Вот, — говорю, — двор вашего сиятельства, вот хлев коровий...

Нету гусяного сарая. Прямо-таки нету гусяного сарая. Обижаться стали босячки. А я аж весь двор объелозил на брюхе и смотрю, как бы уволиться. Да за мной босячки — пугаются, что, дескать, сбегу.

Пал я тут на колени.

— Извините, — говорю, — худого мужика, — водит нас незримая сила. Не могу признать местонахождения.

Стали тут меня бить босячки инструментами по животу и по внутренностям. И поднял я крик очень ужасный.

Хорошо-с.

Сбежались хрестьяне и комиссия.

Выяснилось: клад вашего сиятельства, а где — неизвестно.

Стал я Богом божиться — не знаю, мол, что к чему, приказано, дескать, передать письмишко, а я не причинен.

Пока хрестьяне рассуждали, что к чему, и солнце встало.

Только смотрю: светло и, безусловно, нет гусяного сарая. Вижу: кто-то разорил на слом гусяный сарай. «Ну, — думаю, — хорошо. Больно хорошо. Молчи теперь, помалкивай, Назар Ильич, господин Синебрюхов».

А очень тут разгорелась комиссия. И какой-то, запомнил, советский комиссар так и орет горлом, так и прет пузом на меня...

— Ты, — говорю, — смотри пузом на меня не при, потому я, безусловно, не причинен.

А он:

— Это, — говорит, — дело уголовное и статья, — говорит, — есть такая... Рой, — кричит, — хрестьянские товарищи, землишку, выкопавшей все сарай, выискивай на мою голову.

Разошлись все, безусловно, по сараям, копают — свист идет, а, безусловно, ничего нету. А босячки мои сгрудились — сиг через забор, — только их и видели.

А меня скрутили, связали руки, ударили нешибко по личности и отвезли в тюрьму. А посла на общественных работах мурыжили год.

А нашли клад или не нашли — я не знаю. Я в тех местах больше не бывал.

ВИКТОРИЯ КАЗИМИРОВНА

В Америке я не бывал и о ней, прямо скажу, ничего не знаю.

А вот из иностранных держав про Польшу знаю. И даже могу ее разоблачить.

В германскую войну я три года ходил по польской земле... И нет, не люблю я полячишек. В натуре у них, знаю, всякие хитрости.

Скажем — баба. Ихняя баба в руку целует. Только взойдешь в халупу:

— Ниц нема, пан...

И сама, стерва, в руку.

Русскому человеку это невозможно.

Мужик ихний — безусловно, хитрая нация. Ходит завсегда чисто, бороденка бритая, денежку копит.

Нация их и теперь выясняется. Скажем: Верхняя Силезия... Зачем, пожалуйста, полячку Верхняя Силезия? Зачем же издеваться над германской расой?

Ну хорошо, живи отдельной державой, имей свою денежную единицу, а к чему же еще такое несбыточное требование?

Нет, не люблю я полячишек...

А вот поди ж ты: встретил польскую паненку — и такая у меня к Польше симпатия пошла, лучше, думаю, этого народа и не бывает.

Да только ошибся.

Нашло на меня, прямо скажу, такое чудо, такой туман: что она, прелестная красавица, ни скажет, то я и делаю.

Убить человека я, скажем, не согласен — рука дрогнет, а тут убил, и другого, престарелого мельника, убил. Хоть и не своей рукой, да только путем своей личной хитрости.

А сам, подумать грустно, ходил легкомысленно женишком прямо около нее, бороденку даже подстриг и в подлую ее ручку целовал.

Было такое польское местечко Крево. На одном конце — пригорок — немцы окопались. На другом — обратно пригорок — мы окопчики взрыли, и польское это местечко Крево осталось лежать между окопчиками в овраге.

Польские жители, конечно, уволились, а которые хозяева и, как бы сказать, добришко кому покинуть грустно — остались. И как они так существовали — подумать странно.

Пуля так и свистит, так и свистит над ними, а они — ничего, живут себе прежней жизнью.

Ходили мы к ним в гости.

Бывало, в разведку либо в секрет, а уж по дороге, безусловно, в польскую халупу.

К мельнику все больше ходили.

Мельник такой существовал престарелый. Баба его сказывала: имеет, говорит, он деньжонки капиталом, да только не говорит где.

Будто обещал сказать перед смертью, а пока чегой-то пугается и скрывает.

А мельник, это точно, скрывал свои деньжонки.

В задушевной беседе он мне все и высказал. Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие.

— Пусть, — говорит, — они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им, где деньжонки, — оберут как липку и бросят за свои любезные, даром что свои родные родственники.

Мельника этого я понимал и ему сочувствовал. Да только какое уж там, сочувствовал, семейное удовольствие, если болезнь у него жаба и ноготь, заметил я, синий.

Хорошо-с. Баловали они старичка.

Старик кобенится и финтит, а они так во взор его и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги.

А была у мельника семья: баба его престарелая да неродная дочка, прелестная паненка Виктория Казимировна.

Я вот рассказывал великосветскую историю про клад князя вашего сиятельства — все воистинная есть правда: и босячки-крохоборы, и что били меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны. И быть ее не могло. Была она в другой раз и по другому делу... Была она, Виктория Казимировна, дочка престарелого мельника.

И как это вышло? С первого даже дня завязались у нас прелестные отношения... Только, помню, пришли раз к мельнику. Сидим хихикаем, а Виктория Казимировна все, замечаю, ко мне ластится: то, знаете ли, плечиком, то ножкой.

«Фу ты, — восхищаюсь, — так твою так — случай».

А сам все же пока остерегаюсь, отхожу от нее да отмалчиваюсь.

Только попозже берет она меня за руку, любитесь мной.

— Я, — говорит, — господин Синебрюхов, могу даже вас полюбить (так и сказала). И уже имею что-то в груди. Только, — говорит, — есть у меня до вас просьбишка: спасите, — говорит, — меня для-ради бога. Желаю, — говорит, — уйти из дому в город Минск или еще в какой-нибудь там польский город, потому что — сами видите — погибаю я здесь курам на смех. Отец мой, престарелый мельник, имеет капитал, так нужно выпытать, где хранит его. Нужно мне разжиться деньгами. Я, — говорит, — против отца не злоупотребляю, но не сегодня завтра он, безусловно, помрет, болезнь у него — жаба, и пугаюсь я, что про капитал не скажет.

Начал я тут удивляться, а она прямо-таки всхлипывает, смотрит в мои очи, любитесь.

— Ах, — говорит, — Назар Ильич, господин Синебрюхов, вы — самый здесь развитой и прелестный человек, и как-нибудь вы это сделаете.

Хорошо-с. Придумал я такую хитрость: скажу старичку, дескать, выселяют всех из местечка Крево... Он, безусловно, вынет свое добро... Тут мы и заставим его поделить.

Прихожу назавтра к ним, сам, знаете ли, бороденку подстриг, блюзу-гимнастерку новую надел, являюсь прямо-таки парадным женишком.

— Сейчас, — говорю, — Викторичка, все будет исполнено.

Подхожу демонстративно к мельнику.

— Так и так, — говорю, — теперь, — говорю, — вам, старичок, как-юк-компания — выйдет завтра приказ: по случаю военных действий выселить всех жителей из местечка Крево.

Ох как содрогнется тут мой мельник, как вскинется на постельке... И сам как был в нижних подштанниках — шась за дверь и слова никому не молвил.

Вышел он на двор, и я тихонько следом.

А дело ночное было. Луна. Каждая даже травинка виднеется. И идет он весь в белом, будто шкелет какой, а я за сарайчиком прячусь.

А немец, помню, что-то тогда постреливал. Только прошел он, старичок, немного, да вдруг как ойкнет. Ойкнет и за грудь скорей. Смотрю — и кровь по белому каплет.

«Ну, — думаю, — произошла беда — пуля».

Повернулся он, смотрю, назад, руки опустил и к дому.

Да только, смотрю, пошел он как-то жутко. Ноги не гнет, сам весь в неподвижности, а поступь грузная.

Забежал я к нему, сам пугаюсь — хватъ да хватъ его за руку, а рука холодеет, и смотрю: в нем дыханья нет — покойник. И незримой силой взошел он в дом, веки у него закрыты, а как на пол ступит, так пол гремит — земля к себе покойника требует.

Закричали тут в доме, раздались перед мертвецом, а он дошел поступью смертной до постельки, тут и скопился.

И такой в халупе страх настал, — сидим, и дышать даже жутко.

Так вот помер мельник через меня, и сгинули — аминь во веки веков — его деньжонки капиталом.

А очень тут загрустила Виктория Казимировна. Плачет она и плачет и всю неделю плачет — не сохнут слезы.

А как приду к ней — гонит и видеть меня не может.

Так прошла, запомнил, неделя, являюсь к ней. Слез, смотрю, нету, и подступает она ко мне даже любовно.

— Что ж, — говорит, — ты сделал, Назар Ильич, господин Синябрюхов? Ты, — говорит, — во всем виноват, ты теперь и раскаивайся. Достань ты мне хоть с морского дна какой-нибудь небольшой капитал, а иначе, — говорит, — ты первый для меня преступник, и уйду я, знаю куда, в обоз, — звал меня в любовницы прапорщик Лапушкин и обещал даже золотые часишки браслетой.

Покачал я прегорько головой, дескать, откуда мне такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низынько:

— Пойду, — говорит, — поджидает-ждет меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич, господин Синябрюхов!

— Стой, — говорю, — стой, Виктория! Дай, — говорю, — рок, — дело это обдумать надо!

— А чего, — говорит, — его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только исполни мою просьбу.

И осенила тут меня мысль.

«На войне, — думаю, — все можно. Будут, может, немцы наступать — пошурю по карманам, если на то пошло».

А вскоре и вышел подходящий случай.

Была у нас в окопах пушечка... Эх, дай бог память — Гочкис заглавие. Морская пушечка Гочкис.

Дульце у ней тонехонькое, снаряд — и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд. А стреляет она всячески неслабо. Стрельнет и норовит взорвать, что побольше.

Над ней и командир был — морской подпоручик Винча. Подпоручик ничего себе, но — сволочь. Бить не бил, но под винтовку ставил запросто.

А очень мы любили эту пушечку и завсегда ставили ее в свой окоп.

Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок и — пушечка.

Германии она очень досаждала. В польский костел она была по кумполу, потому был там германский наблюдатель.

По пулеметам тоже била.

И прямо немцам она не давала никакого спасения.

Так вот вышел случай.

Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть — затвор. И притом унесли пулемет. И как это случилось — удивительно подумать. Время было тихое, я, безусловно, к Виктории Казимировне пошел, часовой у пушечки вздремнул, а подчасок, сволочь такая худая, в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли.

Ну ладно. Пошел.

Только играет он в карты, выигрывает и, сучий сын, не поинтересуется посмотреть, что случилось.

А случилось: немцы пушечкин затвор стибрили.

К утру только пошел подчасок к пушечке и зрит: лежит часовой, безусловно, мертвый и кругом — кража.

Ох и было же что тогда!

Морской подпоручик Винча тигрой на меня насакивает, весь дежурный взвод ставит под винтовку и каждому велит в зубах по карте держать, а подчаску — веером три карты.

А к вечеру едет — волнуется генерал ваше превосходительство.

Ничего себе, хороший генерал.

Взглянул на взвод, и гнев его прошел. Тридцать человек, как один, в зубах по карте держат.

Усмехнулся генерал.

— Выходи, — говорит, — отборные орлы, налетай на немцев, разорай внешнего врага.

Вышли тут, запомнил, пять человек, и я с ними.

Генерал ваше превосходительство восхищается нами.

— Ночью, — говорит, — летите, отборные орлы. Режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть какой-нибудь пулемет и, если случится, — пушечкин затвор.

Хорошо-с...

К ночи мы и пошли.

Я-то играючи пошел. Мыслишку, во-первых, свою имел, а потом, имейте в виду, жизнь свою я не берег. Я, знаете ли, счастье вынул.

В одна тыща девятьсот, должно быть, что в шестнадцатом году, запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. На груди у него — клетка, а в клетке — не попка, — попка та зеленая, — а тут вообще какая-то тропическая птица.

Так она, сволочь такая, ученая, клювом вынимала счастье — кому что. А мне, запомнил, планета Рак и жизнь предсказана до 90 лет.

И еще там многое что предсказано, что — я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности.

И тут вспомнил я предсказание и пошел, прямо скажу, гуляючи.

Подошли мы к немецкой проволоке. Темь. Луны еще не было. Прорезали преспокойно лаз. Спустились вниз, в окопчики в германские. Прошли шагов с полста — пулемет — пожалуйста.

Уронили мы германского часового наземь и придушили тут же...

Очень мне это было неприятно, жутковато, и вообще, знаете ли, ночной кошмар.

Хорошо-с.

Сняли пулемет с катков, разобрали кому что: кому катки, кому ящички, а мне, запомнил, подсунули, так их так, самую что ни на есть тяжесть — тело пулемета.

И такой, провалился он совсем, претяжеленный был: те налегке — шаг да шаг и скрылись от меня, а я пыхчу с ним — затрудняюсь. Мне бы наверх ползти, да смотрю — проход сообщения. Я в проход сообщения... А из-за угла вдруг германец прездоровенный-здоровенный, и наперевес у него винтовка. Бросил я пулемет под ноги и винтовку тоже против него вскинул.

Только чую — германец стрельнуть хочет, голова на мушке.

Другой оробел бы, другой — ух как оробел бы, а я ничего — стою, не трепыхнусь даже. А поверни я только спину либо щелкни затвором — тут, безусловно, мне и конец.

Так вот стоим друг против дружки, и всего-то до нас пять шагов. Зрим друг друга глазами и ждем, кто побежит. И вдруг как задрожит германец, как обернется назад... Тут я в него и стрельнул. И вспомнил свою мыслишку. Подполз к нему, пошарил по карману — противно. Ну да ничего — перевозмог себя, вынул кабаньей кожи бумажник, вынул часишки в футляре (немцы все часишки в футляре носят), взвалил пулемет на плечо и наверх. Дошел до проволоки — нету лаза. Да и мыслимо ли в темноте его найти?

Стал я через проволоку продираться — трудно. Может быть, час или больше лез, всю прорвал себе спину и руки совсем изувечил. Да только все-таки пролез. Вздохнул я тут спокойно, залег в траву, стал себе руки перевязывать, — кровь так и льет.

И забыл совсем, чума меня возьми, что я еще в германской стороне, а уж светает. Хотел было я бежать, да тут немцы тревогу под-

няли, нашли, видимо, у себя происшествие, открыли по русским огонь, и, конечно, поползи я, тут бы меня заметили и убили.

А место, смотрю, вполне открытое было и подальше травы даже нет — лысое место. А до халуп шагов триста.

Ну, думаю, каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич, господин Синебрюхов, благо трава спасет.

Хорошо. Лежу.

А немцы, может быть, очень обиделись: стибрили у них пулемет и двоих почем зря убили, — мстят — стреляют, прямо скажу, без остановки.

К полдню перестали стрелять, да только, смотрю, чуть кто проявится в нашей, в русской стороне, так они туда и метят. Ну, значит, думаю, безусловно, они настороже и нужно лежать до вечера.

Хорошо-с.

Лежу час. И два лежу. Интересуюсь бумажником — денег немало, только все иностранные. Часишками люблюсь. А солнце прямо так и бьет в голову, и дух у меня замирать стал. И жажда. Стал я тут думать про Викторию Казимировну, только смотрю — сверху на меня ворон спускается.

Я лежу живой, а он, может, думает, что падаль, и спускается.

Я на него тихонько шикаю:

— Ш-ш, — говорю, — пошел, провал тебя возьми!

Машу рукой, а он, может быть, не верит и прямо на меня наседает.

И ведь такая птичья сволочь — прямо на грудь садится, а поймать я никак его не поймаю — руки изувечены, не гнутся, а он еще бьется больно клювом и крылами.

Я отмахнусь — он взлетит и опять рядом сядет, а потом обратно на меня стремится и шипит даже. Это он кровь, гадюка, на руке чувствует.

«Ну, — думаю, — пропал, Назар Ильич, господин Синебрюхов! Пуля не тронула, а тут птичья нечисть, прости господи, губит человека зря.

Немцы, безусловно, сейчас заприметят, что такое приключилось тут за проволокой. А приключилось: ворон при жизни человека жрет».

Бились так мы долго. Я все норовлю его ударить, да только перед германцем остерегаюсь, а сам прямо-таки чуть не плачу. Руки

у меня и так-то изувечены — кровь текет, а тут еще он щиплет. И такая злоба к нему напала, только он на меня устремился, как я на него крикну: кыш, кричу, сволочь паршивая!

Крикнул, и, безусловно, немцы сразу услышали. Смотрю, змеей ползут германцы к проволоке.

Вскочил я на ноги — бегу. Винтовка по ногам бьется, а пулемет на-земь тянет. Закричали тут немцы, стали по мне стрелять, а я и к земле не припадаю — бегу.

И как я добежал до первых халуп, прямо скажу — не знаю. Только добежал, смотрю — из плеча крова текет — ранен. Тут по-за халупами шаг за шагом дошел до своих и скосился замертво. А очнулся, запомнил, в обозе в полковом околотке.

Только хватать-похватать за карман — часишки тут, а кабаньего бу-мажника как не бывало. То ли я на месте его оставил — ворон спря-тать помешал, то ли выкрали санитары.

Заплакал я прегорько, махнул на все рукой и стал поправляться.

Только узнаю: живет у прапорщика Лапушкина здесь в обозе прелестная полячка Виктория Казимировна.

Хорошо-с.

Прошла, может быть, неделя, наградили меня Георгием, и явля-юсь я в таком виде к прапорщику Лапушкину.

Вхожу в халупу.

— Вздравствуйте, — говорю, — ваше высокоблагородие и здрав-ствуйте, пожалуйста, прелестная полячка Виктория Казимировна.

Тут, смотрю, смутились они оба. А он встает, ее заслоняет.

— Чего, — говорит, — тебе надобно? Ты, — говорит, — давно мне примелькался, под окнами треплешься. Ступай, — говорит, — отсю-дова, так твою и так...

А я грудь вперед и гордо так отвечаю:

— Вы, — говорю, — хоть и состоите в чине, а дело тут, между прочим, гражданское, и имею я право разговаривать, как и всякий. Пусть, — говорю, — она, прелестная полячка, сама сделает нам выбор.

Как закричал он на меня:

— Ах ты, — закричал, — сякой-такой водохлеб! Как же ты это смеешь так выражаться... Снимай, — говорит, — Георгия, сейчас я тебя наверно ударю.

— Нет, — отвечаю, — ваше высокоблагородие, я в боях киплю и кровь проливаю, а у вас, — говорю, — руки короткие.

А сам тем временем к двери и жду, что она, прелестная полячка, скажет.

Да только она молчит, за Лапушкину спину прячется.

Вздыхнул я прегорько, сплюнул на пол плевком и пошел себе.

Только вышел за дверь, слышу, кто-то топочет ножками.

Смотрю: Виктория Казимировна бежит, с плеч роняет трико-тажный платочек.

Подбежала она ко мне, в руку впилась цапастьенькими коготками, а сама и слова не может молвить. Только секундочка прошла, целует она меня прелестными губами в руку и сама такое:

— Низынько кланяюсь вам, Назар Ильич, господин Синебрюхов... Простите меня, такую-то, для-ради бога, да только судьба у нас разная...

Хотел я было упасть тут же, хотел было сказать что-нибудь такое — да вспомнил все, перевозмог себя.

— Нету, — говорю, — тебе, полячка, прощения во веки веков.

ЧЕРТОВИНКА

Жизнь я свою не хаю. Жизнь у меня, прямо скажу, роскошная.

Да только нельзя мне, заметьте, на одном засиженном месте сидеть да бороденку почесывать.

Все со мной чтой-то такое случается... Фантазии я своей не доверяю, но какая-то, может быть, чертовинка препятствует моей хорошей жизни.

С германской войны я, например, рассчитывал домой уволиться. Дома, думаю, полное хозяйство. Так нет, навалилось тут на меня, прямо скажу, за ни про что все-всякое. Тут и тюрьма, и сума, и пришлось даже мне, такому-то, идти наниматься рабочим батраком к своему задушевному приятелю. И это, заметьте, при полном своем семейном хозяйстве.

Да-с.

При полном хозяйстве нет теперь у меня ни двора, ни даже куриного пера. Вот оно какое дело!

А случилось это вот как.

Из тюрьмы меня уволили, прямо скажу, нагишом. Из тюрьмы я вышел разутый и раздетый.

Ну, думаю, куда же мне такому-то голому идти — домой являться? Нужно мне обжиться в Питере.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ

Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова	7
Веселая жизнь	38
Вор	45
Веселая масленица	48
Сила таланта	50
Матреница	51
Горькая доля	55
Европа	57
Новый человек	59
Писатель	61
Приятная встреча	63
Беда	65
Жертва революции	68
Аристократка	71
Человеческое достоинство	74
Собачий нюх	76
Барон Некс	78
Любовь	81
Хозрасчет	84
Исторический рассказ	86
Брак по расчету	87
Счастье	90
Медик	93
Диктофон	95
Исповедь	97
Верная примета	99
Поводырь	100
Родственник	104
Европеец	106
Случай в провинции	108
Отхожий промысел	112
Нянькина сказка	115

СОДЕРЖАНИЕ

Актер	117
Баня	120
На живца	122
Суконное рыло	124
Доходная статья	125
Пассажир	128
Рабочий костюм	130
Стакан	132
Чудный отдых	134
Муж	136
Папаша	138
Инженер	140
Кризис	141
Нервные люди	143
Святочная история	145
Родные люди	147
Именинница	148
Бочка	150
Режим экономии	152
Кинодрама	153
Рачис	155
Театральный механизм	156
Узел	158
Прелести культуры	159
Лимонад	162
Спешное дело	164
Товарищ Гоголь	165
Гости	167
Качество продукции	169
Хиромантия	171
Мелкота	172
Волокита	174
Обезьяний язык	176
Пушкин	178
Царские сапоги	180
Литератор	182
Рука ближнего	184
Душевная простота	186
Пароход	188
Каторга	190
Операция	192
Зубное дело	193

СОДЕРЖАНИЕ

Кошка и люди	195
Хамство	197
Иностранцы	198
Медицинский случай	200
Хороший знакомый	202
Честное дело	205
Землетрясение	207
Чистая выгода	210
Испытание героев	212
Врачевание и психика	218
Западня	223
Грустные глаза	226
Анна на шее	229
Водяная феерия	234
Науку — на борьбу с шумом!	238
История болезни	241
Спи скорей	245
Опасные связи	248
Огни большого города	251
В Пушкинские дни	255
Двадцать лет спустя	260
Парусиновый портфель	271
Сердца трех	275
Похвала транспорту	280
У подъезда	283
Кочерга	286
Ночное происшествие	289
Леля и Минька	291
Фотокарточка	322
Приключения обезьяны	326

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ

Сентиментальные повести	335
Предисловие к первому изданию	335
Предисловие ко второму изданию	336
Предисловие к третьему изданию	337
Предисловие к четвертому изданию	337
Аполлон и Тамара	338
Люди	357
Страшная ночь	388
О чем пел соловей	404

СОДЕРЖАНИЕ

Веселое приключение	422
Сирень цветет	442
Первые повести	473
Мудрость	473
Коза	481
М. П. Синягин. (Воспоминания о Мишеле Синягине)	501

ГОЛУБАЯ КНИГА

М. Горькому	543
Предисловие	544
I. Деньги	547
II. Любовь	602
III. Коварство	655
IV. Неудачи	710
V. Удивительные события	775
Приложение к пятому отделу	804
Бедная Лиза	804
Рассказ о студенте и водолазе	808
Происшествие	811
Мелкий случай из личной жизни	814
Последний рассказ	818
Послесловие ко всей книге	821
Прощание с философом	822
Прощание с читателем	824

Зощенко М.

З 88 Не может быть! / Михаил Зощенко. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. — 832 с. — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-18315-5

Михаил Зощенко — один из самых популярных и любимых писателей в нашей стране. Колоссальная известность пришла к нему почти в самом начале карьеры, в 1920-х годах. Восторженные читатели присылали ему тысячи писем, к нему домой ходили восхищенные поклонницы, за его рассказы бились многочисленные журналы... Секретом массового успеха Михаила Зощенко стал не только его сатирический талант. На страницах его книг оживает советский мир быта, который был назван самим писателем «печальным недоразумением на заре человеческой жизни». Однако сегодня, спустя целый век, произведения Михаила Зощенко по-прежнему находят своего читателя, заняв почетное место среди лучших образцов классики русской литературы XX века.

В настоящее издание вошли все основные художественные произведения Михаила Зощенко: рассказы и фельетоны, «Сентиментальные повести» и удивительная «Голубая книга», попытка написать «краткую историю человеческих отношений» начиная с древних времен.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЦЕНКО

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Марии Антиповой
Корректоры Светлана Федорова, Валентина Гончар,
Наталья Хуторная
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 07.07.2020. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 52. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



Y-ARL-26906-01-R